

## Роман СЕНЧИН

Родился в 1971 году в Кызыле, Тувинская АССР. Работал монтажником, дворником, грузчиком. По окончании Литературного института вел в нем семинар прозы (2001–2003).

Публикуется в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя», «Нижний Новгород», «Урал» и других. Автор ряда романов и сборников рассказов. Роман «Елтышевы» в 2011 году вошёл в шорт-лист премии «Русский Букер десятилетия» и принес автору Премию правительства РФ (2012). В 2015 году за роман «Зона затопления» удостоен третьей премии «Большая книга», в 2017-м – премии «Писатель XXI века» в номинации «Проза» (за книгу «Постоянное напряжение»).

Живет в Санкт-Петербурге.

## ПИСАТЕЛИ СОВЕТСКОГО ВЕКА

### Биографические зарисовки

*Советскому строю история отвела немногим более семидесяти лет – почти столько же, сколько составляла средняя продолжительность жизни человека в СССР. За это время была создана советская литература, явление неоднородное, многогранное, сложное, к тому же прошедшее несколько этапов своего то ли развития, то ли деградации. А вернее, были всплески и подъемы, были спады и провалы.*

*В этой подборке я представляю краткие биографии и свой взгляд на творчество нескольких писателей. Жизнь одних целиком уместилась в период с 1917 по 1991 годы, другие же родились до Октябрьской революции, но работали уже в советское время, третьи, родившись в первые десятилетия советской власти, творили и в период так называемой новой России. А открывает подборку биография Леонида Леонова, дебютировавшего в литературе в 1915-м и скончавшегося в 1994-м, вскоре после публикации своего романа «Пирамида».*

*Заметки писались в разные годы. Одни – к юбилеям и круглым датам со дня рождения, другие – после прочтения книг, которые заставляли узнать об их авторах подробнее. Я многое узнавал, работая над этими текстами, надеюсь, они станут кому-нибудь полезны и интересны.*

## Выпавший из обоймы. Леонид Леонов

Октябрьская революция и гражданская война дали нам не только новый государственный строй, но и новую литературу. В прозе ее олицетворяли и совсем юные, встретившие 1917-й подростками или гимназистами (Фадеев, Шолохов, Гайдар), молодые, но с уже накопленным дореволюционным опытом жизни (Булгаков, Катаев, Зазубрин, Зощенко), пожилые, но вдруг удивительно и страшно помолодевшие в сво-

их произведениях, подобно Александру Серафимовичу с «Железным потоком».

Среди порожденных теми событиями писателей одним из самых могучих был Леонид Леонов. А может, и самым могучим. Именно его прочили в наследники Горькому, в неполные тридцать возводили в классики советской литературы.

Судьба Леонова схожа с судьбами многих его сверстников. Совсем молодым был призван в Белую армию, потом перешел в Красную, начал публиковаться еще до революции, но раскрылся неповторимым талантом в начале 1920-х. Слава сменялась опалой и угрозой ареста, книги то издавались стотысячными тиражами, то изымались из библиотек, спектакли по пьесам снимались, все время маячило страшной тенью происхождения, месяцы у белогвардейцев.

В сухом изложении биография Леонова отличается разве что этим: прожил почти сто лет, увидел Россию без коммунистов у власти. Вернее, с перекусившимися коммунистами. Потому, наверное, и не приветствовал их...

Это действительно писатель огромной силы. Замес художественности в его прозе 20-х – начала 30-х настолько густой, что меня до сих пор, сколько бы ни открывал те произведения, начинает лихорадить. Так бывает, когда ешь икру или сливочное масло без хлеба...

Хорошо жилось Бурьге в зеленом приволье леса. Там по утрам солнце ласково встает: оно не жжет затылка, не сует тебе клубка горячей шерсти в глотку, оно свое там, знакомое. Там затынет по утрам разноголосая птичья тварь на все лады развеселые херувимские стихеры, там побегут к болотному озерку неведомые, неслыханные лесные зверюги... Ранними утрами поет там лес песню, а над ним идут, идут, идут алые облака, клубятся, сталкиваются: то не ледоход небесный – то земные радости плывут.

Выходит из своего логова детеныш Бурьга, – он летом в норке мшистой живет. Он спросонья на пни натывается, зеленый, в зеленом крадется кустарнике, он похрамывает по кисельным зыбунам, шустро сигает через мертвые пни, кубарем катится, вьюнцом идет... Вот он сядет на прогалинке, он хихикает и морщится, он сидит-прискакивает, греет спинку, сушит шерстку под солнышком, а солнышко теплой лапкой его гладит, – жмурится и щурится, мурлыкает незатейную песенку, язык мухоморам кажет... А те нарядились, как к обедне, выстроились толстые и тонкие в ряд... Шесть их по счету, и весело им поэтому.

...А уж и вечер. Солнце спряталось, по небу обсосанная карамелька, луна, ползет. Тут и начало развеселой гулянке ночной.

Так писал двадцатидвухлетний Леонов. Густо, сытно!..

Поколения сменяют друг друга, и сейчас о Леониде Максимовиче Леонове знают немногие. Читают мало. Если бы не яркая книга о нем Захара Прилепина, написать которую его «надоумил» Дмитрий Быков; не переиздание его сначала ранних вещей, а потом и основного корпуса произведений в составе шеститомника (опять же при участии Прилепина), о Леонове знали бы еще меньше.

Такова, наверное, закономерность: тех, кого при жизни издавали предостаточно, о ком писали монографии одну за другой, забывают, тех же, кого издавали скудно, кого много ругали или о ком вовсе молчали, изучают на протяжении десятилетий, как случилось с Булгаковым, Платоновым, Бабелем.

О, на первый взгляд, благополучном Леонове (кроме прочего – шесть орденов Ленина!) в последние лет двадцать, кроме разве что

литературоведов, вспоминали редко. Приходят на память очерки Солженицына, Алексея Варламова, Дмитрия Быкова, и вот Прилепин, вынесший фигуру Леонова из вод беспощадной Леты...

В нашей домашней библиотеке были три леоновские книги. Две достаточно тонкие – «Барсуки» и «Соть» и одна толстенная – «Русский лес». Однажды, мне было тогда лет пятнадцать, возникло любопытство, о чем можно написать целый роман под названием «Барсуки». Открыл...

Прикатил на Казанскую парень молодой из Москвы к себе на село, именем – Егор Брыкин, званьем – торгаш. На Толкучем в Москве ларь у него, а в ларе всякие капризы, всякому степенству в украшенья либо в обиход: и кольца, и брошки, и чайные ложки, и ленты, и тесемки, и носовые платки... Купечествовал парень потихоньку, горланил из ларя в три медных горла, строил планы, деньгу копил, себя не щадя, и полным шагом к своей зенитной точке шел. Про него и знали на Толкучем: у Брыкина глаз косой, но меткий, много видит; у Брыкина прием цепкий, а тонкие губы хватки, – великими делами отметит себя Егорка на земле.

А за неделю до Казанской нашел Брыкин стертый пятак под водосточным желобом. С пятака и пристала к нему тоска. Осунулся и помертвел, вся скупая пища, какую принимал, на раздраженье его тоски пошла. Тут как-то, сидя на койке у себя со свечкой, сосчитал Брыкин сумму богатства своего и задумался. Причудилось ему, что уже настало время удивить мир деянием большого человека Егора Брыкина, а тоску за предвестье славы своей счел. Парень он был коммерческого смысла, знал потехе меру, деньгам счет, высшему чину лукавый почет, а себе истинную цену. Пораздумав вдоволь и дело обсудив с городским своим приятелем Карасьевым, порешил Егор к жнитву домой жениться ехать.

Над текстами Леонова не паришь, по ним медленно ползешь, ошупывая каждую фразу, как камешек. Его читаешь не только с душевным напряжением, что свойственно при общении с настоящей прозой, но и умственным. И главное – ум в случае леоновских произведений напрягать хочется, в отличие от многих других вроде бы сложных и глубоких вещей.

Помню, я прополз «Барсуков» и «Соть» и совершенно зачарованный перешел к «Русскому лесу». И через несколько страниц отбросил. Почувствовал досаду – не верилось, что это написал тот же человек. Казалось, кто-то подделывается под него, местами умело, а чаще так, что получается пародия.

Тогда я не знал – можно писать не только по вдохновению, но и для пользы дела, можно упрощать свой художественный язык, чтобы было доходчивей; можно конструировать, а не сочинять или переносить на бумагу живую жизнь.

«Русский лес» принес тогдашнему советскому обществу – времен первой, 1950-х, оттепели – пользы куда больше других произведений Леонова. Через сбережение деревьев пришло осознание необходимости сбережения людей, народа; Леонов в этом романе показал страшные будни недавнего прошлого (а когда писал, эти будни были настоящим), где слежка друг за другом обычное дело, где дети пусть с мукой, но искренне и решительно отрекались от отцов, которых государство объявляло врагами, или же сами, опережая государство, указывали на отцов.

Леонов создавал свой «Русский лес» еще при Сталине, поэтому многое ему приходилось давать иносказательно или же не слишком в лоб,

в надежде, что умный читатель поймет. Я, ребенок так называемой перестройки, в то время понять не смог. И Леонов на долгие годы перестал меня интересовать... В 1990-е попытался прочесть только что изданную «Пирамиду», но не осилил. Опять же – не понял, воспринял как усложненную до предела вариацию «Мастера и Маргариты» с отголосками «Доктора Живаго».

Вернулся благодаря книге Захара Прилепина в серии «Жизнь замечательных людей». Прочитал почти всего Леонова: «Дорога на океан», «Вор», «Петушихинский пролом», «Метель», «Нашествие», «Саранча», роман-наваждение «Пирамида», «Evgenia Ivanovna»... Обогатился, но и расстроился от того, что все же вряд ли Леонов вернется к читателю так же широко и громко, как вернулись или открылись его сверстники Булгаков, Набоков, Газданов; что будет жить в истории русской литературы рядом с Шолоховым, Катаевым, Зощенко.

Как это ни печально, но Леонов когда-то – скорее всего в брежневские времена, когда его не читали, но зато обильно награждали, да и сам он десятилетиями не публиковал художественное (а ведь это до сих пор не разрешенная загадка: молчание Леонова, Шолохова), – выпал из обоймы *необходимых* писателей. А вернуться в нее практически невозможно. Но, с другой стороны, чего не случается...

Умирал Леонов, как и многие старики, с мыслью о скором наступлении последних времен, ущербности человеческой природы. В коротеньком предисловии к «Пирамиде» есть такие слова: «Спешность решения (публиковать роман. – Р. С.) диктуется близостью самого грозного из всех когда-либо пережитых нами потрясений – вероисповедных, этнических и социальных – и уже заключительного для землян вообще. Событийная, все нарастающая жуть уходящего века позволяет истолковать его как вступление к возрастному эпилогу человечества: стареют и звезды».

В 1994 году такой прогноз мог вызвать улыбку, но нынешние процессы, очень напоминающие возможный кризис человеческой цивилизации или жестокие игры потусторонних сил, заставляют лично меня вновь обратиться к огромному роману-наваждению. Многое там предсказано, предвидено. Быть может, и ответы на необходимые сейчас вопросы найдутся.

## Распылённый талант. Александр Фадеев

«Я постоянно увлекаем стихией так называемых “неотложных”, т. е. суетных дел. Сейчас я уже вполне дospel до Канатчиковой дачи...» Это горькое признание принадлежит автору романов «Разгром» и «Молодая гвардия», генеральному секретарю Союза писателей СССР Александру Фадееву.

Одна из самых трагичных фигур сталинской эпохи. Нет, Фадеева не уничтожили физически, как Бабея или Пильняка, не вычеркнули из советской культуры, как Булгакова или Грина, не отправили в лагерь, как Заболоцкого или Мандельштама. Он был обласкан и востребован властью – Сталинская премия первой степени, два ордена Ленина, членство в Центральном комитете компартии, депутатство в Верховном Совете, множество должностей в общественных организациях...

Но в первую очередь Фадеев был писателем, призвание у него было – писать. А на это времени и сил почти не оставалось. Да и словно какое-то

проклятие сопутствовало его работе над романами «Последний из удэ-ге», «Молодая гвардия», «Черная металлургия». Вскоре после начала борьбы с культом личности Сталина, Фадеев застрелился, оставив предсмертное письмо со словами:

Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии и теперь уже не может быть поправлено.

«... Загублено... и теперь уже не может быть поправлено». Слишком категорично даже для предсмертной записки? А по-моему, справедливо – русская литература так и не поднялась на ту высоту, на какой была при «царских сатрапах» в XIX веке и в 20-е годы века XX. В те 1920-е, когда в литературу пришел двадцатилетний бывший комиссар стрелковой бригады Александр Фадеев.

Его творческая жизнь началась необычайно ярко. Первая же повесть «Разлив» показала – автор, пусть совсем молодой и малоопытный, обладает несомненным талантом. И это подтвердил вышедший следом страшный рассказ о Гражданской войне «Против течения», который позже Фадеев переработает и переименует в «Рождение Амгуньского полка». В 1926-м опубликован маленький роман «Разгром» – лучшее, а для многих и последнее настоящее, искреннее его произведение.

Александр Фадеев родился в селе Кимры недалеко от Твери. Когда ему было семь лет, семья переехала в Южно-Уссурийский край, и с тех пор Фадеев считал себя дальневосточником. Несколько раз приезжал туда, мечтал вернуться навсегда, но дела не позволяли – заменить ему на посту руководителя огромной писательской организации не находилось...

В Москве Фадеев оказался в марте 1921-го как делегат Десятого съезда партии большевиков. После ранения – участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа – поступил в Московскую горную академию. Затем пошли публикации, и он всерьез занялся литературой.

Да, именно литературой, а не просто писательством. Стал одним из активистов Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП), которая пыталась создать «советского писателя» и «советскую литературу», агрессивно нападая на «попутчиков» вроде Булгакова, Замятина, Пильняка.

Существует такая то ли байка, то ли исторический факт. Когда в 1932 году РАПП была распущена, ее идейный вождь Леонид Авербах с этим не согласился, а Фадеев оказался в числе тех, кто роспуск принял. Между ними возник конфликт, дошедший до разрыва отношений. И на одной из встреч с писателями Сталин предложил им пожать друг другу руки. Фадеев, после некоторой внутренней борьбы, протянул Авербаху руку, а Сталин поморщился: «Слабый ты человек, Фадеев». И, видимо, понял, что он будет послушно выполнять любые его распоряжения. И Фадеев выполнял.

Он не оставил мемуаров и дневников, в письмах был сдержан. Но короткое предсмертное письмо, наверное, исчерпывающе показывает, что творилось в душе Фадеева в последние годы:

С каким чувством свободы и открытости мира входило мое поколение в литературу при Ленине, какие силы необъятные были в душе и какие прекрасные произведения мы создавали и еще могли бы создать!

Нас после смерти Ленина низвели до положения мальчишек, уничтожили, идеологически пугали и называли это – «партийностью».

«Необъятные силы» Фадеева были растрочены на борьбу с явными или мнимыми врагами, на написание сотен обличительных, духоподъемных, юбилейных речей и статей, на решение нескончаемых административных вопросов жизни Союза писателей, который, по свидетельству некоторых современников Фадеева, он в начале 1950-х предлагал распустить.

Большую часть жизни он писал, правда, с громадными перерывами, книгу «Последний из удэге». Книга должна была стать эпической, но автор сразу увяз в описании классовой борьбы, Гражданской войны на Дальнем Востоке. И получилось это не лучше десятков текстов, писавшихся и издававшихся в то время. По-настоящему сильны лишь несколько последних страниц, где Фадеев обратился к самим удэгейцам, и слог его изменился, стал сказовым, гипнотизирующим.

Когда-то народ был велик. В песне говорилось, что лебеди, перелетая через страну, становились черными от дыма юрт.

Племя удэге кочевало в широкой и очень длинной полосе лесов и рек, протянувшейся между хребтом Дзуб-Гынь и океаном, и по ту сторону хребта, по течением рек Бикина, Хора, Имана, Улахэ, Даубихэ – рек, получивших эти названия много позже от китайцев. Эти реки впадали в одну большую реку, за которой жил народ маньчжуры. А эта большая река впадала в еще большую реку, из-за которой приходили гиляки, солоны и еще десятки племен, а откуда и куда она текла, эта самая большая река, об этом никто не знал.

Сам Фадеев горько шутил, что со временем и название книги сделалось неточным – вымиравший в начале XX века народ при советской власти начал заметно увеличиваться...

«Молодая гвардия» имеет два варианта. Первый был опубликован в 1946-м и подвергся критике за отсутствие коммунистов, которые бы руководили юными подпольщиками; Сталин, как сообщают современники, назвал молодогвардейцев в изображении Фадеева махновцами. И автор сел переписывать, опять же горько шутя: «Переделяваю молодую гвардию в старую».

Но поистине ужасно то, что прототипы тех, кого Фадеев вывел в романе как предателей, таковыми на самом деле не были. Чего стоит судьба Ольги Лядской...

В 1951-м он приступил к работе над романом «Черная металлургия». Побывал на комбинатах Магнитогорска, Челябинска, изучал теорию и практику производства, находил героев и антигероев. Работал, по собственному определению, «с аппетитом». А потом оказалось, что прототипы героев романа на самом деле антигерои и наоборот. И Фадеев остановил работу. «Мне остается одно – выбросить рукопись. Да и себя – новой книги я уже не начну...»

Муза словно смеялась над ним, иногда отрывавшимся на общение с ней от других дел. Подсовывала непроверенные факты, как в случае с «Молодой гвардией» и «Черной металлургией», диктовала не то, о чем он хотел писать в случае с «Последним из удэге».

Фадеев распылил свой талант в общественных нагрузках, идеологической борьбе, административной работе. Это для художника трагедия. И для нас – мы видим в Фадееве лишь контур большого писателя. И фигуру несчастного человека.

## «Это жизнь придумала»... Гавриил Троепольский

Создать произведение, которое останется, будет жить после твоего ухода – мечта любого писателя. Чаще всего несбыточная. Гавриил Николаевич Троепольский такое произведение создал – «Белый Бим Черное ухо», и ему можно только позавидовать. С другой стороны, обидно, что он известен сейчас только этой повестью...

Для большинства из нас Троепольский ассоциируется с 1970-ми. Тогда была опубликована повесть «Белый Бим...» и следом снят по ее мотивам трогательный фильм с Вячеславом Тихоновым в главной роли. Гавриил Николаевич стал часто появляться на телевизионных экранах, говорил о сельском хозяйстве, об охране природы, о друзьях наших меньших.

Сложно поверить, что Троепольский почти сверстник своего земляка Андрея Платонова. Но пришел в литературу уже после смерти автора «Чевенгура», в 1950-х. Главным на протяжении многих десятилетий для Троепольского была агрономия.

Вообще, интересная параллель двух уроженцев воронежской земли – Платонов одушевлял механизмы, Троепольский – растения. Вроде бы полярные взгляды, но в то же время очень близкие, и в произведениях обоих писателей есть много общего. Сочувственная жалость к несовершенству мироустройства, что ли...

Гавриил Николаевич не ходил в школу. Получил домашнее образование. Это не помешало ему поступить в сельскохозяйственное училище, затем поработать учителем, а потом стать агрономом и селекционером. В конце жизни самым значительным своим достижением Троепольский считал не повесть «Белый Бим...», а один из выведенных им сортов проса, который спасал от голода людей во время и после войны.

Около двадцати лет он проработал в райцентровском городке Острогжске на западном краю Воронежской области. Там пережил оккупацию. Умел договариваться с гитлеровцами, нескольких человек уберег от расстрела. После войны компетентные органы искали факты предательства Троепольского, но выяснилось, что он помогал нашей разведке и партизанам.

Всерьез писательством Гавриил Николаевич занялся уже взрослым, много повидавшим человеком. В мартовском номере журнала «Новый мир» за 1953 год появились рассказы из цикла «Записки агронома» – одна из первых ласточек грядущей «оттепели». Как написал позже в очерке о Троепольском критик Игорь Дедков: «Он вышел в это поле позже сверстников, но – в свой срок, со своим крепко обдуманном, *необходимым* словом, когда пришло время, и место его в литературе было свободно, ждало его».

В сатирической форме (не путать с юмористической) Троепольский показал жизнь современного ему колхоза, связанного по рукам и ногам распоряжениями, планами, сроками, сыплющимися сверху – от районного, областного начальства. А колхоз, нужно напомнить, хозяйство автономное. Правда, в реальности так никогда не было...

По предложению главного редактора «Нового мира» Твардовского Гавриил Николаевич написал продолжение, которое срочно, в августовском номере, опубликовали. А в 1955 году вышел художественный фильм Станислава Ростоцкого под не очень-то притягательным названием «Земля и люди», начинающийся с многозначительной надписи: «Пришла весна 1953 года».

Фильм почти забыт ныне. Впрочем, как и вся та цивилизация с секретарями райкомов, партийными собраниями, производственной темой. Но идея фильма для России извечная: власть (государственная, помещичья, партийная, воровская), отстань от мужика, дай ему землю пахать, и он тебя накормит. Чуть позже она станет главной у тех, кого будут звать сначала издевательски, а потом уважительно, «деревенщики».

С 1954 года и до конца жизни Троепольский жил в Воронеже. Написано им не так уж много – почти всё уместилось в три поджарых тома собрания сочинений. Но это настоящая русская проза. Даже если написано в жанрах выдавливаемого в публицистику очерка или вовсе из словесности – драматургии. «В камышах», «Митрич», «Кандидат наук», «У крутого яра», «Один день», «Постояльцы», «О реках, почвах и прочем»...

Но каков язык в очерках Троепольского:

Ночь. Белая луна над рекой, еще недавно такой красивой, чистой, прозрачной, как слеза. Ни рыбы, ни дичи – ничего! Не рябит месяц, не играет в реке. На весле вошел в прокоп: как в могиле – тихо, безжизненно-черные отвесы стен. Луна теперь провалилась в этот жуткий проем, поэтому теряешь ощущение неба вверху; весло глубоко вязнет в тине – дно постепенно заиливается; кажется, вот сейчас въеду под землю, но это – обман зрения: обвалился вертикальный «берег» прокопа и образовал зияющую рваную «дыру». Ночью она представляется черным гротом... Я люблю ночь на реке. Люблю эту реку, как близкого человека. Она еще жива!.. Неподалеку слегка ухнуло, как будто послышался протяжный стон со вздохом: то обвалился где-то берег. В глубокой ночи слышу немой укор, просьбу о пощаде. Река стонет!

А вот здесь была трехметровая глубина, теперь тут на моторке не проехать. Кто виноват? В ответ ухнул еще обвал или оползень – тоже со стоном.

Как и многие писатели, выросшие в деревне, Троепольский попытался осмыслить произошедшее с русским крестьянством в 1920-е–1930-е годы. Итогом стал единственный роман «Чернозём». Не самое сильное его произведение. Впрочем, как и многих других его собратьев по перу. Может быть, тема эта вообще неподъемна для литературы.

Лебединой песней Троепольского оказалась повесть «Белый Бим Черное ухо». После нее он писал всё меньше и реже. И возраст брал свое, и, видимо, исчерпанность нажитого, а может быть, и отчаяние – ничего ведь по-настоящему не исправлялось, не налаживалось, не улучшалось. Тогда отчаивались многие. Стоит вспомнить позднюю прозу Тендрякова, Абрамова, Шукшина. Горькая проза.

Ударом для Троепольского стал конфликт с его старым товарищем Станиславом Росточким, взявшимся за экранизацию «Белого Бима...». Режиссера сценарий не устроил, и он внес туда много исправлений вопреки воле автора. В результате Гавриил Николаевич снял свою фамилию с титров, осталось лишь «по мотивам».

Во время перестройки его хотели сделать обличителем советского прошлого. Тем более биография этому способствовала. Мало того что одним из первых выступил с критикой творящегося в колхозной жизни во времена Сталина, так еще и сын репрессированного – его отца, священника, расстреляли в 1930 году как врага народа.

Но Гавриил Николаевич повел себя неожиданно для обличителей. Как вспоминал журналист Эдуард Ефремов, однажды Троепольского пригласили в областную библиотеку Воронежа, где проходил «суд над КГБ». Послушав обвинительную речь, в которой упоминался

следователь, ведший дело отца, Гавриил Николаевич поднял и потребовал: «Прекратите! Нельзя по документам писать историю, тем более – давать характеристики человеку... Я своим детям и внукам завещал, чтобы они молились о следователе НКВД Степанове... Он предпринял всё возможное, чтобы представить священника Троепольского ни в чем не виновным... Когда отца расстреляли, следователь Степанов покончил с собой, оставив записку, что он не может пережить позора».

Этот поступок, по-моему, очень точно рисует характер писателя. Может быть, Троепольский не обладал сознанием «исторического масштаба», но старался быть честным и справедливым на том пространстве, которое видел и знал. И писал об этом пространстве. Вернее, записывал. Недаром он часто повторял: «Это не я придумал – это жизнь придумала».

## Советский писатель с опасной фамилией.

### Сергей Голицын

Помню, в советское время нам, пионерам, говорили, что Шереметевы и Шереметьевы, Меншиковы и Меньшиковы, в общем, люди с «опасными фамилиями» – это не внуки и правнуки дворян-помещиков, а потомки крепостных, которых записывали так же, как и их владельцев.

Может, это и правда, но встречались и настоящие графы и князья. Вроде бы обычные советские люди, но с *прошлым*, которое стало открываться только в годы перестройки. Тогда появились и мемуары, а вернее, художественная автобиография Сергея Михайловича Голицына «Записки уцелевшего», и я узнал, что один из моих любимых писателей – князь, внук московского губернатора, сын предводителя дворянства. Так вот почему персонажи его повестей про пионеров так запросто произносят «изволь», «держать экзамен», «не угодно ли»...

В нашей семье было много книг, в том числе и так называемых «детских». Большую их часть я так и не прочитал, рано увлекшись научно-популярной литературой, хрестоматиями по истории.

На томик Сергея Голицына «Сорок изыскателей. За березовыми книгами» клюнул из-за заманчивого названия – «березовые книги», это наверняка про что-то древнее, когда писали на бересте, – и вкусных иллюстраций Станислава Забалуева. До сих пор, открывая эту книгу 1969 года издания поражаюсь, что картинки не мешают чтению, как случается очень часто, а наоборот – тянут узнать, какому эпизоду произведения они соответствуют.

Может быть, я нахожусь в плену своего первого, подросткового, впечатления, но эти две повести и сегодня считаю лучшими в богатом и разнообразном наследии Голицына. Впрочем, перечитав их, вижу: они действительно замечательные. Ключ писательской удачи – счастливо найденная фигура повествователя. Хотя Голицын такого повествователя не изобрел, а скорее всего, позаимствовал, например, у Герберта Уэллса, который любил рассказывать о необыкновенном от лица немолодого, не очень любопытного, флегматичного человека.

Так и в повестях Голицына: повествователь – отец семейства, «пожилой детский врач», жизнь его размеренна, встрясок и приключений он побаивается, но без них тоскует. И приключения его находят, и ему приходится отвечать не только за себя, но и за ребят, которые его в эти приключения втянули. Хотя кто за кого больше отвечает и кто кого вы-

ручает и спасает – еще вопрос... Голицын в этих повестях очень точно поймал психологию подростков – им приятно видеть слабоватого, неуклюжего, не очень быстро соображающего взрослого.

Ну и язык – вроде бы простой, неяркий, зато сразу вызывающий ощущение, что всё это было на самом деле. Вот завязка повести «За березовыми книгами»:

Сын мой, Миша, улетал в вулканологическую экспедицию на Курильские острова, а дочка, шестиклассница Соня, собиралась в туристский поход в Крым.

И никому не было никакого дела, где я, пожилой детский врач, проведу свой летний отпуск. Неужели придется отправиться в подмосковный Дом отдыха? Это значит: с утра до вечера стучать в домино с чересчур болтливыми соседями или дремать с удочкой у заросшего тиной пруда...

Я поделился своими грустными мыслями с соседом по квартире, работником исторического архива Тычинкой.

Так его прозвал Миша за малый рост и небывалую худобу.

Пытливые глазки Тычинки ласково засветились сквозь толстые очки.

– Я вам давно хотел предложить одно дельце, – чуть улыбаясь, сказал он и тотчас же скрылся за дверью, а через десять минут легонько постучал в мою комнату.

– Не угодно ли взглянуть на сию статечку? – Он показал тускло-зеленый журнал «Библиограф» за 1889 год. Полистав пожелтевшие от времени, пахучие страницы, он ткнул пальцем.

– «Об остатках библиотеки тринадцатого века», – прочел я заглавие.

Статья была о найденных автором в башне одного монастыря четырех рукописных книгах на пергаменте. На заглавных листах удалось прочесть, что эти книги принадлежали князю Василько Ростовскому.

– А кто такой был Василько? – робко спросил я.

– Василько был сыном Константина Мудрого – владельца самой богатой библиотеки того времени. В ней кроме книг на пергаменте несомненно, имелись также березовые книги.

Ну и как после этого «пожилому врачу» не отправиться на поиски библиотеки, а нам не прочесть об этих поисках?..

Термин «шестидесятники» размыт. Обычно шестидесятниками называют молодых людей, пришедших в культуру, науку, общественную жизнь с наступлением «оттепели». В конце 1950-х. Но можно встретить в перечислении шестидесятников и людей старших поколений. Окуджава, Солженицын, Слуцкий, Галич, Гранин, даже Шаламов. В этом случае и Сергей Голицын, родившийся в 1909 году, вполне подходит под определение шестидесятника – его писательский талант, свежий, романтический, раскрылся как раз в конце 50-х – начале 60-х.

А что было до этого?

Сергей Михайлович Голицын появился на свет в селе Бучалки Епифанского уезда Тульской губернии в родовом имении Голицыных, в семье юриста, земского деятеля князя Михаила Владимировича Голицына и Анны Сергеевны Голицыной, в девичестве Лопухиной. В семье было двое сыновей и пять дочерей.

Октябрьская революция застала Голицыных в Москве, и в книге «Записки уцелевшего» подробно рассказывается, как жилось им в Белокаменной, во флигелях реквизированных усадеб, крестьянских избах во время Гражданской войны. Рассказывается без ожесточения, без звенящей обиды; автор явно хочет быть объективным, беспристрастным. На первой же странице он дает и себе, и нам такую установку: «Буду

стараться писать объективно, как летописец, “добру и злу внимая равнодушно”, буду передавать факты, надеясь в первую очередь на свою память. А выводы пусть сделают историки XXI века». Впрочем, беспросветная тьма не царствовала – случались даже балы, лето на даче...

К писательству у Голицына лежала душа с ранней юности. После школы по настоянию родителей он попытался поступить на биологический факультет Московского университета, учился на бухгалтерских курсах, ходил на лекции вольнослушателем, подрабатывал чертежником карт, но в итоге сдал экзамены на Высшие литературные курсы, которые через два года были закрыты – слишком много «бывших» там училось. Жуковские, Гагарины, Дурново...

Летом 1928-го Голицын со своим другом совершил первое большое путешествие – по Русскому Северу. Позже походы, путешествия станут главной темой Голицына-писателя.

Вскоре после закрытия курсов его арестовали по ордеру, подписанному Ягодой. Обыск в квартире ничего не дал, допросы – тоже. Через несколько дней он был освобожден. На прощание следователь посоветовал: «Сейчас по всей стране началось грандиозное строительство. А вы фокстроты танцуете. Вам следует включиться в общенародный созидательный процесс. Мой вам совет: уезжайте, уезжайте из Москвы на одну из строек, усердным трудом вы докажете свою приверженность Советской власти».

Голицын внял совету, и с тех пор началось его кочевание по стройкам социализма. Пригодилась специальность, полученная в школе: последние два класса были преобразованы в землемерно-таксаторские курсы. Работал Голицын и на юге страны, и в Горной Шории, на строительстве Куйбышевской ГЭС... Увольнения, болезни, угрозы ареста. Но, как заметил он в книге «Записки уцелевшего»: «Могу сказать: в течение моей жизни благодаря различным чудесным совпадениям мне поразительно везло».

После очередного увольнения он написал книгу «Хочу быть топографом». Написал не просто так, а по заказу. В ГОНТИ (Государственное объединенное научно-техническое издательство) был план научно-популярных книг, предназначенных для детей. Автора для книги «Топография школьнику» найти никак не могли, и тогда брат Сергея Михайловича Владимир, книжный иллюстратор, предложил попробовать написать книжку ему. «Хочу быть топографом» вышла в 1936-м.

«Честно говоря, мне ею нечего гордиться. Но зато с нее начинался мой литературный стаж, много лет спустя она мне пригодилась для оформления пенсии. После войны ее дважды переиздавали в Детгизе, и я даже получил за нее премию, кстати, единственную в своей жизни».

Но дальше начались неудачи: «Понес я в ОНТИ заявку на следующую книгу “История дорог”, начиная с Персии и Ассирии, но мне сказали, что редакция для юношества ликвидирована, Берман перешел на другую работу. Толкнулся я в издательство “Молодая гвардия”, но там мне ответили, что тема моей заявки неактуальна, и отказали».

Голицыну симпатизировал писатель Борис Житков, даже отвез в журнал «Чиж» два его рассказа. «Я все ждал ответа, а потом узнал, что редактора Чижа и Ежа – Олейникова посадили, решил, что рассказы пропали. А много позднее мне прислали письмо в Дмитров на адрес родителей, что мои рассказы обнаружены в архиве журнала “Чиж”, спрашивали меня, кто я такой и оба рассказа – “Олененок” и “Чайник” были напечатаны в 1940 году».

Незадолго до начала войны Голицын написал пьесу «Московская квартира», работу над которой продолжал и после Победы. Мечтал, что ее поставят в Малом театре, давал читать актеру Игорю Ильинскому. «Восемь лет я мучился с пьесой, столько времени потерял зря, в конце концов рукопись сжег!»

В 1946–1948 годах написал воспоминания о войне «Записки беспогонника» (с 1941 до 1946 года Голицын служил в военно-строительном отряде), которые были опубликованы только 1990-х. В 1953-м вышла полностью переработанная книга «Хочу быть топографом», а в 1959-м издана повесть «Сорок изыскателей», которая принесла автору настоящую известность.

«Сорок изыскателей» появилась именно в нужное время – когда у людей возникла потребность в походах, странствиях, манили новые места, возник острый интерес к прошлому. Романтические были годы, и повесть Голицына стала их яркой иллюстрацией.

Новые повести, очерки, биографии известных людей посыпались как из рога изобилия. «Городок сорванцов», «За березовыми книгами», «Страшный Крокозавр», «Сказания о белых камнях», «Тайна старого Радуля», «Слово о мудром мастере. Повесть о художнике В. А. Фаворском»... Поражает работоспособность пожилого человека. Но, видимо, давала силы накопленная энергия задуманных два-три десятилетия назад произведений...

Умер Сергей Голицын в ноябре 1989-го, редактируя «Записки уцелевшего». Книги его продолжают переиздаваться. 2017 году вышло собрание сочинений в двух томах, в 2021-м – отдельными изданиями повести «Городок сорванцов» и «Сорок изыскателей». Мало кому из авторов книг «для детей и подростков» сопутствует такая долгая популярность. Но именно ли для детей и подростков писал Сергей Голицын? Скорее, и для них в том числе. В этом я, пятидесятилетний дяденька, в последние месяцы смог убедиться – открыл одну книгу и не смог оторваться, пока не прочитал всё, что сумел найти. И чувствовал себя во время чтения одновременно и взрослым и подростком. Это чудо может сотворить только большой талант.

## Сверстник советского века. Даниил Гранин

1 января 2019-го Даниил Гранин мог бы отметить 100 лет. Да, вполне мог бы. Он не дожил до юбилея всего полтора года.

Известно, что бессмертных людей не бывает. У каждой жизни есть предел. Но некоторых мертвыми представить невозможно – в сознании держится твердая уверенность: они будут всегда. Для меня таким являлся писатель Даниил Гранин.

Я познакомился с ним в 2006 году. По возрасту Гранин должен был оказаться глубоким стариком, дряхлым и немощным, а предстал молоджавым, румяным дяденькой с острым умом, и в голосе ничего старческого не слышалось, была этакая петербургская плавность. Помню, вернувшись домой с литературного мероприятия, я раскрыл энциклопедию, чтоб удостовериться, что родился Гранин действительно непостижимо для меня давно – во время Гражданской войны. И вот, почти девяностолетний, он стоит без всяких палочек, улыбается, отвечает на вопросы писательского молодняка, в руке рюмка водки...

В начале 2017-го я видел Гранина в последний раз, и он почти не изменился за десять лет. Разве что немного ссохся и говорил уже

несколько с трудом. Но для 98-ми лет это мелочи. Ничего особо не указывало на ту глубинную усталость, которая, собственно, и называется старостью.

И тем неожиданной стало известие, что летом того же года он попал в больницу, а через несколько дней скончался. Последний, кажется, из известных писателей, родившихся до образования СССР.

Имя Гранина я слышал с детства. Родители обсуждали его книги, по телевизору часто шел фильм «Иду на грозу» с Василием Лановым, Александром Белявским, Жанной Прохоренко – фильм для поколения моих родителей, что называется, культовый.

Подростком я пробовал читать Гранина, но было сложно. Наверное, не по возрасту. Хорошо, что в очередной раз попытался лет в шестнадцать – и на несколько недель провалился в «Иду на грозу», «Зубра», «Искателей». Проза об ученых. Лаборатории, научные споры, открытия, неудачи, вражда, любовь не просто мужчины и женщины, а коллег...

Да, вовремя провалился, потому что буквально через полгода-год были сметены приоткрытые цензурные шлюзы, и хлынул поток запрещенного, «возвращенного», андеграундного, и для меня, да и большинства моих сверстников, знакомства со многими советскими писателями или не случилось вовсе, или было отсрочено на многие годы. Некоторых я узнаю лишь сейчас, после сорока, в пятьдесят плюс.

До сих пор встречается уничижительное слово «совписы». Расшифровывается оно просто – «советские писатели», но значение имеет такое: приспособленцы, лгуны, конъюнктурщики, конформисты. И ведутся бесконечные споры – являлись ли, скажем, Окуджава этим самым совписом, или Шукшин, или Трифонов...

Все они, жившие и издаваемые в СССР, были, конечно, советскими писателями. И все в той или иной степени вынуждены были держаться в определенных идеологических рамках. Но, быть может, эти рамки не только сдавливали писателя, но и заставляли писать действительно *полезные* – а не только талантливые, высокохудожественные, сильные – произведения?

Я то время почти не застал, поэтому и задаюсь этим вопросом. Ведь в отличие от последних трех десятилетий, давших, конечно, немало замечательных авторов, 50-е – первая половина 80-х – время литературы именно *полезной* для жизни.

Слово «полезное» может показаться в отношении художественной литературы неуместным, употреблю «нравственное». Даже самые честные, самые безжалостные произведения были направлены на то, чтобы сделать человека лучше. Сегодня эта задача литературы не видна.

Даниил Гранин – советский писатель. Талантливый, наверное, честный в своих книгах, ставящий героев в сложные положения, но, скажем так, в воспитательных целях. Читатель после его книг, я уверен, становился сильнее. Даже если герои книг терпели крах, как в романе «Иду на грозу».

В его книгах советского периода много примет того времени. Комсорги, парторги, обкомы, бюро, рассуждения о социализме и капитализме. Понятны ли эти рассуждения, приметы времени новым поколениям? Не уверен. Но лучше ли писать такую вневременную прозу? По-моему, нет. Нужно запечатлевать эпоху в том числе и в ее мелочах. Впрочем, эти мелочи зачастую очень сильно влияли на жизнь людей, а то и ломали судьбы.

Я давно от корки до корки не перечитывал те его книги. Иногда заглядываю, чтоб восстановить в памяти стиль, не особенно, скажу, своеобразный. Но удивительное свойство гранинской прозы – он писал в основном об ученых, многие страницы посвящены научным спорам, а читается это довольно легко и увлекательно... Сегодня наука, медицина, спорт и многое другое – очень редкий гость в литературе. «Кто будет читать о физиках?» Да будут. Если писать художественно. Гранин писал, его читали.

Читают его книги и сейчас. Но в основном другие – поздние. «Причуды моей памяти», «Все было не совсем так», «Мой лейтенант».

Это иной Гранин. Впрочем, не совсем и не во всём. У него есть небольшая повесть «Наш комбат», изданная в конце 1960-х. Страшная повесть о том, как штурмовали высоту, торопясь взять ее к дню рождения Сталина, и сколько людей положили в лобовых атаках. Почти весь батальон...

Позже страшные подробности военных лет появились в документальной «Блокадной книге», которую Гранин написал (а вернее, собрал) вместе с Алесем Адамовичем. Полностью «Блокадная книга» вышла только в 2000-е.

Не так давно я впервые прочитал роман Гранина «После свадьбы», опубликованный в 1958 году. Главные герои, молодожены Игорь и Тоня, уезжают из Ленинграда в деревню, устраиваются работать на МТС. Это не оператор сотовой связи, а машинно-тракторные станции. Игорь пытается навести на МТС порядок.

Комсомольцы по очереди группами дежурили у табельной доски. Они встречали опоздавших целым оркестром: били в рельсу, стучали по железной пожарной бочке, провожали с частушками до бригадира. Самые упорные противники табеля и те не выдерживали дружных насмешек. С каждым днем на доске появлялось все больше номерков, они победно блестели за проволочной сеткой, как выбитые мишени.

Но, по мере того как табель налаживался, возникали другие непредвиденные трудности. При малейшей заминке с деталями бригадиры поднимали шум: какой толк в ваших гудках, если потом простаиваем часами! Раньше бригадиры как-то сами изворачивались, добывали, выпрашивали, выменивали детали друг у друга, теперь они дружно насели на Игоря: подавай, обеспечивай, мы вовремя приходим на работу, так и ты, будь добр, покрутись.

А на складе царил неразбериха, инструментального хозяйства не существовало, поводы для простоев возникали ежеминутно. Игорь сам носился и за раздатчика, и за контролера, и за наладчика, а главным образом за добытчика.

Он ничего не успевал, ему казалось, что работа шла еще хуже, чем в первые дни по приезде. Во всяком случае, тогда он не чувствовал себя виновным во всех беспорядках. Теперь же все упиралось в него, все сводилось к нему, он становился главной причиной всех задержек, всех перебоев.

– Стоим, товарищ начальник! – кричал ему через всю мастерскую Анисимов. – Осей нет, уплотнителей нет! Номерок повесили, разрешите домой идти?

Игорь с бессильной, но непримиримой ненавистью смотрел на багровое лицо Анисимова и бежал в кузницу выяснять насчет осей.

Не знаю как другим, а мне читать об этом интересно. И полезно...

Поэт в России, как известно, больше чем поэт. И Гранин не только писал книги, но и участвовал в общественной, политической жизни, был «литературным начальником», народным депутатом СССР.

Одни не могут простить ему, что не встал грудью за Иосифа Бродского, когда над тем нависла угроза судебной расправы, другие

восхищаются смелостью, что воздержался при голосовании об исключении Солженицына из членов Союза писателей. Третьи проклинают за подпись в так называемом «Письме 42-х» в октябре 1993-го, четвертым не понравилось выступление Гранина в Бундестаге в 2014-м, пятые считают эту речь великим событием, настоящей точкой во Второй мировой войне.

Историк литературы Михаил Золотоносов раскопал, что биография Гранина, особенно военного периода, не соответствует той, какая создана им в автобиографических книгах «Причуды моей памяти» и «Всё было не совсем так»; несколько лет назад вышла книга Золотоносова «Гадюшник», состоящая в основном из стенограмм заседаний Ленинградского отделения Союза писателей СССР, где Гранин предстает в неприглядном свете.

Да, он фигура неоднозначная, сложная, противоречивая. Но кто из его сверстников по советскому веку простой, однозначный, консистентный?

Многие поступки и слова Гранина со временем канут в Лету, а некоторые книги, уверен, будут жить. Это для писателя самое главное.

## Трагедия советского моралиста. Юрий Нагибин

По степени настоящей популярности у советских читателей второй половины XX века Юрия Нагибина мало с кем можно сравнить. Были писатели модные, были авторитетные, были полузапрещенные, а Нагибин был именно популярен – его книги расхватывали с прилавков, его героям старались подражать, его слогом упивались...

Теперь о нем почти не упоминают, новое поколение его не знает, а читатели старших поколений при упоминании о Нагибине часто морщатся. Почему?

Удивительно, но о Нагибине-человеке до самых последних лет его жизни почти ничего не знали. Москвич, студентом ушел на фронт, был тяжело контужен (от контузии так и не оправился), стал писателем, сценаристом, много говорил с экранов телевизоров о нравственности, долге, честности...

Да, в 1960-е–1980-е он был чуть ли не «совестью народа», причем не навязанной сверху, а выбранной самим народом. Даже не читавшие его книги, Нагибина уважали: ведь это он написал сценарий самого, пожалуй, народного фильма – «Председатель». Лично я застал время, когда старики смотрели и плакали. И шептали: «Так и было, так оно и было...»

Нагибин писал очень много и так же много издавался. Прижизненное собрание сочинений составило одиннадцать томов, посмертное – двенадцать, но оно далеко не полное. Писал он в самых разных жанрах и направлениях. Городская проза, деревенская, военная, историческая, производственная, школьная повесть, охотничьи рассказы, рассказы для детей, «современные сказки», очень близкие к фэнтези, даже детективные рассказы есть... И всё – или почти всё – у Нагибина получалось блестяще.

Очень талантливый, работоспособный профессионал – недаром критик Валентин Курбатов сравнил его с «ученым и инженером». Такое сочетание в нашей литературе встретишь нечасто: очень многим какого-то из этих качеств недоставало и недостает. Может быть, к счастью...

В середине 1970-х, в годы так называемого застоя, Нагибин опубликовал рассказ «Огненный протопоп» об Аввакуме. Вернее, это краткая художественная биография. Автор показывает нам, каким прямым и твердым в своих убеждениях был вождь староверов. Даже на костре не отрекся, не попросил пощады.

Протопоп горел с ног, на низком, вялом пламени. Он стонал, ревел, закидывал косматую пегую голову с желто обгорелыми от искр кончиками длинных волос. И стрелецкий десятник, как некогда воевода Пашков, царь Алексей и патриархи вселенские – о чем, разумеется, ведасть не мог, – томительно ждал, чтоб страдалец запросил пощады. Почему неправая власть так нуждается даже в мнимом изъявлении покорности, мнимом раскаянии тех, кого считает виновными в тяжких против нее, власти, прегрешениях? Может, потому, что власти нужна не преданность, не союзничество, основанное на единоверии, а только слепое послушание, пусть даже неискреннее, обманное, но полное и безоговорочное, проще – рабье. Тогда власть сознает себя силой. Для десятника покаянный вопль Аввакума означал бы возвращение бранного поля, сабли и бердыша. И когда терявший себя от боли протопоп заходилась волчьим воем, десятнику мерещились седой ковыль, серые гладкие валуны на южном пределе Руси и золотисто вскипающая даль под копытами вражеской конницы. И он приподымался на крепком седле, вбирал в грудь пьянящего, мятой и полынью пахнущего воздуха, принимал в правую руку тяжесть сабли и посылал коня вперед. Из косо завалившегося глаза на шрам, заросший диким мясом, выкатывалась маленькая холодная слеза и солила уголок запекшегося рта. Но тут в лицо ударяло черным смрадным дымом, и был этот дым будто выдох Аввакумова рта.

– Ну же, сдавайся, поп! – не то про себя, не то вслух требовал десятник.

Но Аввакум не сдавался. Али боль его отпустила, али сам поборол муку, али пришло откуда-то остужение, но с дикой силой рванулось из дыма:

– Ужо будете в моих руках, выдавлю сок-то!..

Поник стрелецкий десятник, и перестало ему пахнуть мятой и полынью. И понял он, что отныне лишь этой сладковатой вонью будут смрадить его дни, остальные пустые дни жизни, в которой он все растерял, неведомо где и как: жену, семью, дом, коня, поле и самого себя, да и этого вот корчащегося на костре старика, который один мог дать ему что-то взамен утерянного. Но кругом были шиши государевы, шиши патриарховы и самые кровожадные – шиши добровольные – навадники, были стрельцы, а среди них тот, кто только и ждал случая, чтобы занять место своего начальника. Как бы низко ты ни стоял, всегда найдется нижестоящий, алчущий заместить тебя, а рубленый в боях воин – он знал это теперь прозревшим и навек съжившимся сердцем – не обладал мужеством. Он не мог раскидать костер и спасти мученика.

Своего пика популярность Юрия Нагибина достигла в самом конце 1980-х – начале 1990-х. Но эта популярность оказалась недоброго свойства. Тогда срывались маски, вынимались из шкафов скелеты. Не стал исключением и Нагибин. Он сорвал маску с себя сам, сам вынул скелеты из своего шкафа. И сделал это как писатель – в повестях и романах.

Первая повесть «другого Нагибина» – «Встань и иди» – появилась в журнале «Юность» в 1987 году. Помню свое впечатление: я долго был ошеломлен. Строго говоря, повесть о сталинских репрессиях. Тема в то время чуть ли не модная, но ошеломила меня не тема, а сам герой, благополучный, устроившийся в той жизни молодой человек, которому ссыльный отец, некогда лучший и главный человек, стал мешать.

Повесть была написана настолько исповедально, что невозможно было отделить героя от автора. Сам автор настаивал: это я, отца предал именно я, а не вымышленный персонаж. Но ведь автор написал когда-то

такие светлые, даже в трагизме светлые, повести и рассказы о том же времени – «Переулки моего детства», «Лето», «Школа», «Чистые пруды»... А оказалось, что всё было не так, как у героев тех повестей.

Уже после смерти Нагибина его вдова Алла Григорьевна рассказала, что «Встань и иди» была написана в 1950-е и тридцать лет пролежала, зарытой в саду...

Года через три-четыре после этой повести мне попался сборник Нагибина «Любовь вождей». Я был тогда совсем молодым и, как большинство молодых, падким на чтение так называемой клубнички. Но это была не клубничка, а нездоровые фантазии – явно фантазии – о сексуальных извращениях Берии, Брежнева, Сталина, не имеющего половых органов Гитлера. Сначала я не мог поверить, что это написал Нагибин, потом оправдывал его тем, что ему нужны деньги, и вот он решился так заработать, что это дань тогдашней моде...

А следом повалились его книги подобного рода, но теперь уже вовсе не фантазии – в них он, Юрий Нагибин, был и главным героем. Он это подчеркивал, на этом настаивал. «Тьма в конце туннеля», «Моя золотая теща. Автобиографическая повесть», «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя», «Дневник», сданный в печать за несколько дней до смерти, в июне 1994-го...

Отправляя рукопись повести «Моя золотая теща» издателю Александру Рекемчуку (моему мастеру в Литературном институте), Нагибин писал: «Я вдруг подумал: а что, если ты не прочь прочесть нечто в игривом роде, хотя тоже достаточно мрачное. Русский Генри Миллер, хотя и без малейшего подражания автору “Тропика Рака”».

Да, эта повесть о любовных отношениях героя со своей тещей, женой директора крупнейшего в Москве автозавода, но подражание Миллеру, но... В этом «но», наверное, вся трагедия позднего Нагибина: но Генри Миллер «Тропиком рака» начал свой путь в литературе, а Юрий Маркович подобными вещами свой путь закончил.

Лет сорок воспитывал читателей быть нравственными, честными, сам же держал в надежно запертом шкафу настоящий ящик Пандоры. Когда стало можно и безопасно – он этот ящик открыл.

Люди бросились читать, прочитали, ужаснулись и отбросили эти книги. А вместе с ними и остальное написанное им.

Да, в советское время никто из литераторов не мог опубликовать всё, что писалось. Остались непроходные вещи в архивах Владимира Тендрякова, Федора Абрамова, не доживших до перестройки. Но их посмертная судьба куда завидней судеб тех, кто дожил и написал «всю правду» именно в то время. И дело не в теме, а в эстетике конца 1980-х – начала 1990-х. А эстетика эта была не правды и не созидания, а разрушения. И последние книги Нагибина, его почти сверстников Владимира Солоухина, Виктора Астафьева этому разрушению здорово посодействовали. Лирики, моралисты вдруг сделались обличителями, ниспровергателями ими же созданных идеалов.

Это, конечно, их трагедия. Изломанные судьбы, семейные тайны... Юрий Нагибин, например, уже в зрелом возрасте узнал, что его отец не Марк Яковлевич Левенталь (прототип отца повести «Встань и иди»), а дворянин Кирилл Александрович то ли Нагибин, то ли Калитин, расстрелянный большевиками в 1920 году как участник крестьянского восстания.

Мы, литераторы «новой России», с первых строк можем писать все, что считаем нужным, рубить правду-матку. Впрочем, наверное, поэтому нас так мало читают...

## Деревенщик-производственник. Виль Липатов

Однажды, довольно уже давно, мы заговорили с родителями о советской литературе времен так называемого застоя. Я, помню, утверждал, что с конца 1960-х до начала 1980-х мало что появлялось стоящего, почти ничего не пережило испытание временем, многие и многие забыты, в том числе и Виль Липатов. С чего я упомянул именно его? Наверное, потому, что незадолго до того прочитал в старенькой, истрепанной «Роман-газете» его роман «Игорь Саввович», был впечатлен не столько сюжетом, сколько слогом, интонацией, какой-то тяжелой и крепкой авторской поступью. До «Игоря Саввовича» я читал повесть «Серая мышь» и видел два фильма по липатовским произведениям. Но ощущение прошлого, которое уносит река времён, было сильно.

«Почему это забыт? – возмутилась мама. – Мы отлично помним и перечитываем».

Хотелось ответить: «Отлично», но остановило то, что родителям далеко за семьдесят. Может быть, отлично помнят шестидесятилетние, но для моего поколения, людей в районе пятидесяти, Виль Липатов и его сверстники – или неизвестны вовсе, или смутно знакомы по пионерско-комсомольской юности.

А ведь их книги могут быть интересны и полезны и сегодня. Не стоит сдавать их в утиль или прятать в чулан. Лучше – полистать, а то и зачитаться...

Виль Липатов – знаковый писатель 1970-х, на его книгах выросли последние советские романтики, его героев и антигероев искренне горячо обсуждали на собраниях; экранизации собирали миллионы зрителей. Теперь книги почти не переиздают, фильмы почти не показывают, об авторе очень редко вспоминают историки литературы. Творческое наследие Липатова напоминает закрытую бронзовую книгу на его могиле...

Как и большинство писателей первого ряда семидесятых, Липатов дебютировал в «оттепельные» 50-е. Одна из первых публикаций состоялась в журнале «Юность» в 1956-м. Два рассказа – «Самолетный кочегар» и «Двое в тельняшках». Вот самое начало первого рассказа:

Он появился в конторе лесозаготовительного пункта в середине июня. Шло важное заседание. Час тому назад у дизельного трактора расплавили подшипники, и теперь начальник пункта Сухов, покрасневший и взъерошенный, искал виновных.

По сути, это и стало главной темой прозы и очерков Вилия Липатова: случаи на производстве, но не на больших заводах, а в леспромхозах, в бригадах рыбаков, лесосплавщиков; действие происходит в основном в деревнях и рабочих поселках. Наверное, поэтому автора часто причисляли к деревенщикам. Прочитую дневниковую запись литератора Георгия Елина от 29 мая 1979 года:

«Звонит Коля Булгаков: чем занят? Говорю, что пишу заказной текст про деревенскую прозу (ворчливый), перечисляю авторов. Коля даёт совет:

– Только Вилия Липатова не ругай. Не совсем удобно, когда он в таком положении.

– А в каком он положении?

– Да в общем-то в незавидном – он умер».

А Александр Бурьяк в своем, мягко говоря, нелицеприятном по отношению к Липатову очерке из серии «Критические портретики» называет его «деревенщик и... производственник». По-моему, очень точно...

Родился будущий писатель в 1927 году далеко от литературных столиц – в Чите. Родители (отец – журналист, мать – учительница, оба большевики времен Гражданской) вскоре разошлись, и Виль (В.И. Ленин) вместе с мамой попал на Дальний Восток. Затем были села Новокороткино и Тогур в Томской области. Учился в Новосибирском институте военных инженеров транспорта, затем поступил на отделение истории Томского педагогического института. Работал журналистом в разных городах страны – Томск, Асино, родная Чита, Брянск... В 1967-м, уже известным писателем, осел в Москве. Умер в 52 года...

Да, книги Виля Липатова почти не переиздают в последние десятилетия. Некоторая известность поддерживается фильмами, которые время от времени показывают по телевизору – «И это всё о нем», «Инженер Прончатов», «Деревенский детектив» и его продолжения «Анискин и Фантомас» и «И снова Анискин», благо в них снимался актерский цвет того времени: Евгений Леонов, Эммануил Виторган, Игорь Костолевский, Людмила Чурсина, Альберт Филозов, Валентина Талызина, Михаил Жаров, Татьяна Пельтцер, Михаил Глузский, Тамара Сёмина, Инна Макарова...

Но время меняется всё сильнее, поколения, помнящие реалии 1960–1980-х постепенно уходят, и наверняка книгам и фильмам по сценариям Виля Липатова скоро тоже выйдет срок.

Это ведь большая проблема: срок годности литературы. Единичные произведения живут столетия, в основном же – в том числе и очень талантливых авторов – уходят в небытие. Я сам не раз критиковал обилие вневременных романов, повестей, рассказов, то есть тех, где действие происходит непонятно когда, герой работает неизвестно где или обладает профессией, которая может существовать и в наши дни, и двести лет назад; нет бытовых, социальных подробностей, а темы поднимаются поистине вечные... Может, таким способом авторы хотят продлить жизнь своим детищам.

У Виля Липатова, конечно, можно увидеть вечные темы, но они почти всегда строго увязаны со временем, проблемы поднимаются насущные и актуальные. Но – для того времени. Нынешней молодежи почувствовать его, а не то что понять, практически невозможно. Для них эти книги почти такие же путешествия в сумрак прошлого, как книги Диккенса, Золя, Писемского, Глеба Успенского...

В первых рассказах и повестях Липатова больше романтики. «Шестеро», «Капитан “Смелого”», «Своя ноша не тянет», «Глухая Мята», «Смерть Егора Сузуна», «Стрежень» – о трудовых подвигах, которые подаются именно в романтическом ключе. Это роднит их с ранними произведениями сверстников Липатова Василием Аксеновым, Анатолием Кузнецовым, Александром Рекемчуком, да и с Василием Шукшиным, пожалуй, тоже. Повесть «Чужой» 1964 года выглядит несколько нехарактерной для того периода – главным героем (а вернее, антигероем) в ней выступает тогдашний современный мещанин. Этакая крепкая помеха на пути к скорому коммунизму.

Под конец 1960-х романтизма и лиризма в прозе Липатова становится всё меньше. Начиная с цикла рассказов «Деревенский детектив» (1967–1968) отчетливее начинает проявляться тема воровства, корысти, которые точат и сельских жителей, и городских.

Фильмы о сельском участковом Анискине сняты в несколько ироничном, порой даже юмористическом ключе. Способствует этому и игра Михаила Жарова. Впрочем, кажется, за некоторую ироничность прячется и автор. Но на самом деле это трагические рассказы и повести. Люди, которых «оттепель» и порожденные ею книги должны были сделать честными, открытыми, совестливыми, стали совсем другими.

После выхода книги «Деревенский детектив» возникла довольно бурная полемика. Одни видели в Анискине диктатора, который держит всю деревню в кулаке, другие называли его «совестью деревни». Так или иначе, вывод из тех статей и рецензий делается однозначный – не всё благополучно в нашем обществе. Строили, строили и вот к чему пришли – воруем, химичим, а то и убиваем.

Характерно, что в те же годы были написаны очень горькие рассказы Шукшина «Волки», «Охота жить», «Материнское сердце», «Свояк Сергей Сергеевич», вышли повести Распутина «Деньги для Марии», «Кончина» Тендрякова...

Фигур, подобных Анискину (необязательно милиционеров) вообще, по-моему, не хватало и не хватает ни нашей литературе, ни нашей реальной жизни. Вспоминается разве что герой Бориса Екимова Корытин, председатель полуразворованного колхоза, пытающийся остановить разор и получающий от земляков прозвище Пиночет (так и называется сама повесть, вышедшая после краха перестройки, которая опять же, как и «оттепель» должна была сделать людей лучше, а получилось наоборот).

За «Деревенским детективом» последовали повести Виля Липатова «Лида Вараксина», где деревенская жизнь показана тоже без былого романтизма, а следом «Сказание о директоре Прончатове», роман сложный и по конструкции, и по идее. И если в этом произведении герою, человеку пусть и не очень симпатичному, но активному, талантливому в своем деле (а речь идет, как часто у Липатова, о сплаве леса), удастся победить, то в следующих больших вещах – «И это всё о нем» и «Игоре Саввовиче» – такие герои, достаточно еще молодые люди, проигрывают приспособившимся, укоренившимся. Гибнут – в случае Столетова – физически или в случае Игоря Саввовича – духовно.

В общем, наступивший застой Липатов не только увидел, но и подробно, честно описал. Создал и образец человека, которому в застое хорошо и уютно – мастера Гасилова, который буквально изводит и гнобит горящего новым Женю Столетова. Помнится, тогда возник термин – «гасиловщина». С гасиловщиной боролись, но, как оказалось, безрезультатно.

Самой страшной вещью Виля Липатова стала повесть «Серая мышь». Прочитав ее еще в доперестроечное время (нашел номер журнала «Знамя» с ней в домашней библиотеке), я был удивлен, как такое могли опубликовать в 1970-м. Ведь тогда еще пытались показать советского человека как передового, лучшего. А в повести... Наверное, публикации помогла очередная антиалкогольная кампания.

А сюжет повести такой – четверо мужиков, жителей сибирского поселка, проводят воскресный день, выпивая. Ну, это мягко сказано, выпивая... Они разных возрастов, но все еще крепкие, алкоголя, чтобы напиться, им нужно много. И вот колесят по поселку, просят займы, ругаются с земляками, слушают советы, оправдываются... Это еще не те алкаши, которые не в состоянии работать, которые превращаются в бомжей. В поселке бомжом и не станешь, трудиться, хотя бы на своем

подворье, нужно. Но и не пить они уже не могут, не могут остановиться. Потому так часто и звучит в деревнях придуманная народом причина смерти: сгорел от водки.

Сам Виль Липатов этого недуга не избежал, лежал в больницах. Подобно Высоцкому, попробовал излечиться от алкоголизма с помощью наркотиков. Не получилось. Тоже сгорел...

Его последним романом стал «Лев на лужайке», опубликованный через десять лет после смерти автора. Главный герой, талантливый журналист Никита Ваганов, делает на своем поприще успешную карьеру. Сначала в сибирском городе, а потом и в столице. Для Липатова роман необычен тем, что в нем почти нет примет времени, нет примеров работы его героя. И становится понятно, что роман-то не о журналистике, а о газетном производстве, вернее, этаким конвейере печатных материалов. Ваганов был одним из лучших работников, но именно конвейера; он не захотел нарушить порядок вещей. И очень точно критик Генрих Митин назвал его «удобным правдолюбцем». Да и название романа говорящее – много тогда было львов, но оказались они не в саванне, а на лужайке. Аккуратной, ухоженной, вегетарианской.

Виль Липатов, конечно, не был «несогласным», «инакомыслящим» – тем, кого принято называть диссидентами. Но в его прозе несогласие, разочарование, всё сильнее принимающее форму то иронии, то грусти, усиливалось от одного произведения к другому. Впрочем, как и у большинства тех, кого мы условно можем причислить к его кругу (хотя о степени личной близости судить не могу), – Федора Абрамова, Владимира Тендрякова, Юрия Трифонова, Юрия Казакова. Это были по-настоящему советские писатели, советские люди, видевшие, что страна, созданная их отцами, ими или их старшими товарищами, спасенная во время Великой Отечественной, движется к гибели. Все они (и не только они) пытались предупредить, исправить и умерли, этой гибели не увидев. Природа словно специально выкосила их накануне перестройки, избавила от искушения свободой. Многих из доживших это искушение погубило – советские становились антисоветскими, коммунисты – монархистами, моралисты – порнографами.

Да, книги Вилия Липатова вряд ли снова войдут в читательскую моду. Во многом они устарели. Но плохо не столько это, а то, что в последние десятилетия почти не появляется писателей, которые бы попытались отобразить, а то и осмыслить в своих книгах своё, ими проживаемое, время.

Это непросто, рискованно. И слова Липатова из одного интервью тому подтверждение:

Писателям, работающим над темами сегодняшнего дня, зачастую приходится нелегко, на этом пути мы набиваем себе немало шишек, случается делать и ошибки... Удачно или неудачно, но я ищу, постоянно ищу, а ведь известно: не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.

Он делал.